

ЛЬЮИС КРОФТС

ВЕНСКИЙ
ГЕНИЙ
ЭГОН ШИЛЕ

РОМАН

Москва Издательский Дом Мещерякова 2022
Издательство «Обложка»

ГЛАВА I

Рождение и смерть

Во время медового месяца в Триесте Адольф заразил свою жену сифилисом. В первую ночь, когда они лежали рядом на смятых простынях гостиничной постели, он дотянулся до газовой лампы и погасил её. Перед глазами Мари повисла пелена тьмы. Хриплое дыхание придвинулось ближе, большим и указательным пальцем он цапнул вышитую кромку выреза на её ночной сорочке. Мари повернулась к мужу спиной. Потом отбросила одеяло, выскочила из комнаты и убежала в общую ванную на дальнем конце коридора. Там она села на край медной ванны, сжав колени и застегнув сорочку на пуговицы до самого горла. В ту первую ночь Адольф пошёл за женой, поскрёбся в дверь ванной комнаты и шептал мольбы сквозь щель. На вторую ночь он упрашивал Мари одуматься и преклонить голову на брачное ложе. На третью — орал на неё сквозь дверь и требовал исполнить супружеский долг, перекрикивая её всхлипы и возмущённые протесты других постояльцев. На четвёртую ночь он вообще не лёг в постель с женой. После ужина оставил её, молчащую, за столом и отправился прогуляться по променаду вдоль моря. Уже через полчаса он снял проститутку и дешёвенький номер в трёх домах от гостиницы, где новобрачная притворялась, будто спит.

На следующее утро Мари ещё сидела за завтраком, когда в дверях гостиницы показалась сухопарая фигура Адольфа. Он насмешливо козырнул ей, приложив указательный палец к полям шляпы, и прошагал через вестибюль вверх по лестнице. Они не виделись до самого вечера — только тогда Адольф вышел из номера, освежённый после дневного сна, и направился через людный ресторан прямо к столу Мари. Она прождала его в гостиничном баре весь день, лишь изредка отлучаясь в ванную на четвёртом этаже: поднималась по лестнице, крадась мимо супружеского номера и приныкала ухом к замочной скважине, чтобы послушать сонное дыхание мужа. За ужином они наконец заговорили. Впервые за четыре дня улыбнулись друг другу, побеседовали о том, как очаровательны озарённые солнцем домики вдоль променада, о мелодичном выговоре официанта и обо всём том, что предстоит благоустроить дома, когда они вернутся на берег Дуная. После ужина Мари

забранного решёткой, и посмотреть наружу; бывали дни, когда он вдруг словно излечивался и внезапно спускался к ужину, ища общества семьи, и дочери нервничали при виде его лица, изрытого сыпью. То он лежал неподвижным куском плоти, напичканной опиумом, а то на другую ночь заходил в спальню к детям и присаживался в изножье их постели, брал в руки туфельки дочери, снимал с одеяла её тонкие рыжие волоски. Эгон и Гертруда решили запереться изнутри.

* * *

— Снаружи кто-то есть.

— Не глупи.

— Там, на платформе.

Гертруда теснее придвинулась к Эгону и положила руку ему на грудь.

— Просто рабочие, механики. Спи давай.

— А что за шум?

— Ложись на бочок, закрывай глаза.

— Выйди, проверь!

— Хватит, повторять не буду.

— Ну пожалуйста!

— А ну-ка, спать немедленно!

Через час Эгон открыл глаза и всмотрелся в щель между шторами. Он увидел мерцающие отсветы открытого пламени — совсем непохожие на свет фонариков или прожекторов на поездах — их-то он давно научился распознавать. Мальчик выскользнул из объятий сестры и поспешил к окну. Внизу, на рельсах, с гудением полыхал костёр, а над ним на платформе стоял Адольф и наблюдал, как в воздух взлетают клочья пепла. Эгон надел куртку и башмаки, отпер дверь, спустился на улицу и, подойдя к отцу, приобнял за его пояс.

— Ну, пойдём домой. Ты так простынешь. Иди спать.

Адольф, покрасневший от жара костра, ответил сыну отсутствующим взглядом и едва заметно кивнул, потом повернулся и поплёлся в дом.

Эгон дождался, пока отец скроется внутри, принёс из угольного сарая ведро воды и поднял над костром. Вгляделся повнимательнее в полусгоревшие бумаги, которые уже разлетались по платформе: тут были опалённые обрывки его рисунков — клочок от поезда, почерневшая ветка липы, угольки, которые ещё недавно были церковью, амбаром, рекой. Он поставил

ведро наземь, примирившись с утратой рисунков, оглянулся и увидел, что Адольф медленно поднимается по лестнице и его белая рубашка развеивается за окнами точно дым, а в стёклах пляшут отражения пламени. Эгон постоял, распахнув куртку и чувствуя, как волна жара обдаёт ноги и грудь, дождался, пока огонь погаснет. Он различил в пепле старые железнодорожные билеты, уголок от какого-то своего рисунка, прутья плетёного стула из отцовского кабинета, переплёт сгоревших книг, а под всем этим, там, где угли ещё мерцали и вспыхивали язычками пламени, увидел ту бронзово-золотую застёжку и бумажное слоёное тесто — четыреста обгорелых листков, плотную пачку. Оранжевое пламя на миг подсвечивало голубые водяные знаки отцовских акций, а потом они обращались в пепел.

ГЛАВА 2

Багровые полосы

Спустя девять дней, когда всё состояние семьи уже развеяло ветром, размыло дождями и смешало со щебёнкой на железнодорожных путях, Адольф умер. Первый день нового года положил конец унижительным мучениям безумца. Во сне его хватил удар, и детям больше нечего было по утрам бояться, что, отдёргнув занавеску, они увидят на платформе искалеченное тело отца и ошмётки его мозга на белом снегу. Сырым зимним утром гроб закопали, и семья с облегчением вернулась в станционный домик.

— Что этот сказал? — спросил Эгон, когда все собрались за кухонным столом.

— Нас ведь не заставят съехать? — спросила Гертруда. — Это несправедливо! Нельзя же просто взять и выгнать нас...

— Рейгольд сказал, что нам можно ещё пожить тут какое-то время. Но он заедет и вывезет кое-что из мебели.

— Что, например? — уточнил Эгон.

— Стол. Может, кровать.

— Нашу? — испугалась Гертруда.

— Нет. Мою. — Мать провела ладонью по буфету и повернулась к детям. — Тут уж ничего не поделаешь, поэтому впредь никакого вашего нытья чтобы я не слышала. Один раз сказала —

решил. Он всегда так поступал. Ты женщина, Гертруда. От мужчин тебе будет одно разочарование. Привыкай.

Гертруда выбежала из кухни, хлопнув дверью. Эгон встал, и ножки стула заскрежетали по плитчатому полу.

— Поезжай, как бы она тебя ни изводила.

— Но ты ведь знаешь — рано или поздно она всё равно убежит из дома.

— Она будет к тебе подкатываться и так и этак. Хитрая девчонка. — Рука матери поползла по столу к рукаву Эгона, потом Мари отдернула её. — Она любит тебя, сынок. Ты ведь это знаешь?

— Да, конечно.

— Точно?

— Да.

Мари покачала головой и вышла.

ГЛАВА 4

Красные полукружья

Эгон и Гертруда уложили две сумки, на цыпочках спустились по лестнице из своей комнаты и уже ждали на платформе, когда огни приближающегося поезда озарили долину. До того Эгон успел взять в кабинете начальника станции ключи, отпер кассу и забрал ту небольшую сумму, которую там обнаружил. Когда первый утренний поезд на столицу остановился у платформы, никто с него не сошёл. Эгон открыл дверь вагона, посадил Гертруду и протянул ей обе сумки. Матери они из вежливости оставили записку — написали, чтобы она не волновалась и что вернутся через две недели. Когда Мари развернула записку, её дети уже завтракали в кафе перед вокзалом Грац и майское солнце припекало через зонтик над их столиком.

Гертруда долго, много вечеров подряд выпрашивала ещё одно приключение, прежде чем брат приступит к занятиям в Академии. Она не давала Эгону спать, перечисляя, куда можно было бы съездить, дёргала за локоть и за волосы, пока наконец он не согласился сбежать в Триест, порт на Адриатике, шикарный аванпост, где самые аристократические кавальеры

леры прогуливались под руку с самыми элегантными дамами империи.

В поезде Гертруда уснула — усталость взяла верх над волнением. Эгон сидел прямо и смотрел, как проплывает за окном пейзаж. За считанные месяцы он преобразился из подростка во взрослого юношу. Его тело стремительно росло, но мышцы уже не болели, он больше не краснел, брови стали гуще, голос окреп и не давал петуха. Голову Эгон теперь держал высоко и едва ли не надменно, его шею подпирал твёрдый воротничок и отцовский чёрный шёлковый галстук. В багажной сетке над головой Эгона в такт вагонной качке колыхался чемодан; укладывал его Эгон аккуратно, стараясь не помять модные наряды, благодаря которым он сольётся с аристократической публикой, наводняющей площади Триеста и бульвары Вены. Под костюмами лежали рисовальные принадлежности, а внутри деревянного ящичка с красками пряталась пачка сигарет: чтобы изобразить горожанина, приходится идти на уступки. Эгон извлёк из нагрудного кармана носовой платок, развернул на коленях и положил на него несколько кусочков солёной рыбы. Посмотрел в окно, на топазовые адриатические небеса, а потом — на спящую напротив сестру и впился зубами в лодку чёрного хлеба.

Отель «Эммануэль» оказался лучшим, что они могли себе позволить, и к тому же единственным, где их зарегистрировали без расспросов.

— Герр и фройляйн Шиле?

— Да, верно.

— Мы брат и сестра, — добавила Гертруда.

— Да хоть священник и невеста. Просто распишитесь. Номер оплачивается заранее, будьте любезны.

Эгон выложил деньги на стойку.

— В номере можно курить?

— В номере можно делать что угодно. — Портье подтолкнул по стойке ключи. — Вам наверх, на третий этаж. Вторая дверь налево.

Большую часть номера занимала двуспальная кровать и настенное зеркало. В первую ночь Эгон повернулся так, чтобы рассмотреть себя через плечо. Рядом тихонько дышала Гертруда. Как только она уснула, он встал и подошёл к окну. Открыл ставни, поразглядывал дом напротив — ветер задувал в распахнутые окна и шевелил занавески, — а потом повернулся и снова стал смотреть на Гертруду — копна рыжеватых волос

— Нет-нет-нет. Что-нибудь новенькое. Непременно. Посмеете осквернить мою мастерскую этими помоями Грипенкерла — выгоню.

Они прошли к выходу.

— Я хочу увидеть что-нибудь нездоровое. Декадентское. Дерзкое. — Он наклонился поближе и прошептал Эгону: — Вроде случки на задах у церкви. — Климт хохотнул и скрылся за занавесями. — Это так бодрит. Валли, проводи его.

Золотые листья на синем зашуршали и сомкнулись.

Девушка вывела Эгона из мастерской и вприпрыжку сбегала по лестнице до самой двери. Эгон поправил шляпу, она расцеловала его в обе щеки, стоя ступенькой выше. Потом вытолкнула за дверь и щёлкнула замком.

* * *

Они писали друг друга по очереди, иногда — по отдельности, иногда — набрасывая свои переплетённые тела, глядясь вместе в большое зеркало. Каждый чувствовал настроение другого, копировал стиль, делил на двоих абсент из одного стакана. И попутно Климт знакомил Эгона со всей сложной паутиной венской жизни, сводил с нужными людьми, давал советы, открывал вход во внутренний мир столичной портретной живописи.

Климт сбросил холст с мольберта. Подрамник ударился об пол и треснул. Климт пинал холст, и упавшие бутылки со стуком раскатывались по паркету.

— В лучшем случае это пастиш, а в худшем — пародия! Никчёмный, прилизанный, выхолощенный пастиш!

— Только такое и берут. Другое не покупают.

— У вас на кончике кисти живёт весь ньютонов спектр, а вы способны выдать только это?

— Мы все не такие, как вы.

Климт схватил со стола в углу полбуханки хлеба и запустил в Эгона. Хлеб ударился тому в грудь, на пол посыпались крошки.

— Создавайте собственный стиль. Не подражайте моему.

— Я просто стараюсь свести концы с концами.

— Скармливаете дерьмо лицемерным ублюдкам! Заевшимся старикашкам, покупающим подарочки своим любовницам на воскресной прогулке!

— Зато у них тугие кошельки.

— Вонючий кич, вот что это такое. Кич для тех, кого вы должны презирать сильнее всех. Для богатеньких пижонов из кофеен.

Эгон привалился к стене мастерской. С силой провёл ладонью по лицу, будто что-то стирал с глаз.

— Вы ведь просто не видите? И не слышите? Эту безмозглую болтовню. Они бессмысленно усмеваются, пока монеты не посыплются из их рук в перчатках. От них воняет сквозь духи. Вы не видите их, своих патронов, в барах на задах театров, где они шарят под юбками молодых девиц, и бороды у них мокрые от выпитого шнапса...

— Но они покупают мои работы.

— Греческих богов и мускулистых пророков!

— Нет, я работаю потоньше.

— Потоньше? Не заслуживают они ничего тонкого. Они заслуживают того, чтобы содрать с их дряблых тел всю одежду до нитки, чтобы выставить их во всей обрюзгой наготе, во всём бессилии и упадке.

ГЛАВА 6

Сломанные цветы

Эгон вышел из створчатых дверей Клостернойбургской ратуши на улицу. Оглянулся — над входом ветер трепал и раздувал афишу его выставки, написанную югендштилем* — само название едва втиснули в конце, будто оно было второстепенным, а главным — грандиозное имя художника, написанное гораздо крупнее. Он посмотрел на школу напротив: дворик перед ней всё так же был усыпан песком и щебёнкой, ранившей коленки и забивавшей траву. Знакомый голос учителя пробудил воспоминания, и Эгон отошёл от ворот. Казалось, вся его короткая жизнь — вот она, укладывается в этот отрезок улицы. На одной стороне — ратуша, на удивление благопристойное общественное место для его первой публичной выставки, а на другой — заведение, откуда его исключили несколько лет назад. Шагах в пятидесяти дальше по улице стоял

* Немецкий модерн.

— Точно?

Гертруда кивнула.

— Если он тебя хоть чем-то обидит, я тут, рядом, милая.

— Мать прочитала о тебе в газете, — сказала Гертруда, больше не обращая на Пешку внимания. — Каждый раз, как приезжаю из города, спрашивает про тебя.

— А ты?

— Говорю, что ты преуспеваешь.

— Больше ничего?

— Она ложится спать ещё засветло. А если я возвращаюсь к рассвету, то она вытягивает из меня не больше твоего.

— Она больше не девочка, Эгон, — сказал Пешка, прислонившись к дверному косяку. Одну руку он сунул в карман, другой стряхивал грязь с рубашки. — И не нуждается в твоём присмотре на каждом шагу.

— Антон, пожалуйста, дай нам поговорить минутку наедине! — настойчиво попросила Гертруда.

— Хватит распоряжаться, как мне себя вести с родной сестрой! — отрезал Эгон.

— Но ему нечего бояться, я тебе плохого не сделаю. Скажи ему, что не сделаю, — попросил Гертруду Пешка, пока Эгон, пошатываясь, обходил сестру кругом. — Я со всеми своими моделями всегда обращаюсь очень уважительно.

Эгон, с трудом держа голову прямо, посмотрел на приятеля, потом на сестру.

— Она такая изумительная модель! Ты и сам знаешь.

— Как ты могла? — спросил Эгон, хватая сестру за руку.

— Ты мне не сторож.

— И давно это продолжается?

— Пусты!

— Недели? Месяцы?

— Какая тебе разница? У тебя всегда было полным-полно собственных девиц.

— Я думал, мы договорились.

В конце коридора скрипнула дверь кладовой.

— Я больше не маленькая, — выкрикнула Гертруда.

— Но только не с ним. Прошу, только не с ним!

— Я не твоя собственность.

— Но почему не я... всё могло бы...

Эгон рывком привлек её к себе и впечатал в стену с такой силой, что фотографии в рамках посыпались на пол. Обвил руками, прижался к ней всем телом, склонил её голову себе

на плечо. Она резко двинула брата коленом между ног, он согнулся пополам, выпустил её, ударился головой о металлическую подставку для зонтиков и рухнул. Тут подоспел Пешка, одёрнул на Гертруде задравшееся платье и притянул её к себе. Девушка вся дрожала. Из столовой выскочил Чёрный.

— Райнер!

Из кладовой по коридору зашлёпал дворецкий.

— Да, сударь.

— Вышвырните эту тварь вон.

Дворецкий ухватил Эгона за шиворот, так что бумажный пристежной воротничок остался у него в руке. Отшвырнув его, дворецкий прошествовал к выходу и распахнул дверь. В дом влетел порыв холодного ветра, и дворецкий удостоверился, что Климит терпеливо дожидается в коляске, и только лошади, словно балерины, переступают с ноги на ногу. Райнер вернулся в прихожую, схватил Эгона за волосы, рывком вздёрнул его на ноги и, скрюченного пополам, поволок вниз с крыльца. Потом толкнул так, что тот скатился по скользким ступенькам на тротуар.

— Провалитесь вы оба, — пробормотал Эгон сквозь окровавленные зубы.

ГЛАВА 7

Основные цвета Господни

Вертясь и изгибаясь, листок с наброском спланировал вниз из окна. Он падал и падал, а потом его подхватила воздушная волна, которую подняла проезжавшая мимо коляска, и листок взмыл вверх, затем полетел вниз и опустился лицевой стороной на край сточной канавы. Плотная бумага набухла от воды и вот уже стала одного цвета с уличным булыжником, напиталась грязью Курцбауэрштрассе. Там рисунок пролежал с час, акварель давно уже размыли едкие вонючие помои, после чего другая коляска, резко вильнув вбок, чтобы не сбить бездомную собаку, разодрала листок пополам, вдавила в опавшие листья и повлекла обезглавленное тело Гертруды дальше — на бумаге, прилипшей к колесу.

— Настоящая nereida, — прошептал он.

Эгон прошёл мимо товарища, выбив уголь из его протянутой руки, так что грифель прочертил по голой ноге художника чёрную линию. Взял со спинки стула сорочку и набросил на Валери. Она вздрогнула, проснулась, что-то забормотала пересохшими губами.

— Милая, сейчас мы будем рисовать тебя вдвоём.

— Валли, одевайся.

— И не вздумай. Даже не смей шевелиться.

— Будьте столь любезны, оденьтесь, вы, оба.

Валери завозилась, влезая в рукава сорочки. Эгон натянул на неё покрывало.

— В чём дело? — Голый Климт стоял в дверях на террасу.

— Прикройся.

— Всё вернётся. Я тебе обещаю.

— Ты выглядишь по-дурацки.

— Я знаю, что тебе нужно.

— Валли, одевайся.

— Валли, не двигайся. Эгон сейчас будет тебя рисовать. — Климт протянул приятелю кисть. — Ну, давай же.

— Мне нужны тишина и покой, а не полный дом распутников и пьянчужек. А теперь, если не возражаете...

— Твои работы будут продаваться, я знаю, будут!

— Ради всего святого, надень хоть какие-нибудь штаны!

— Эгон, твоё имя получит известность. Обещаю тебе. Но нужно тебе нечто гораздо более значительное.

— Мне нужно, чтобы вас обоих здесь не было. Ну?

— Тебе нужна хорошая встряска; чтобы ты увлёкся, очертя голову, испугался, отчаялся, гордился... — Климт провёл золотистым грифелем по щеке Валери и вниз в вырез сорочки, так что на коже остался сверкающий след. — Ну же, Эгон. Давай вместе нарисуем эту восхитительную нимфу.

— Немедленно вон оба!

— Это ничего не изменит.

Эгон смерил голого Климта взглядом.

— Просто уезжайте, а?

— Но мы не можем бросить тебя в таком состоянии. Ты не готов возвращаться в Вену. Четырёх месяцев было маловато.

— Я остаюсь.

— И ты начнёшь снова рисовать. Будем работать вместе.

Климт опять протянул кисть и кивнул на мольберт.

- Тебе здесь не у себя дома, Густав.
- Что?
- У тебя неделя на сборы.

ГЛАВА 9

Мёд и кровь

Эгон перешагнул сточную канаву и подошёл к дому. Дверь была изъедена непогодой. Ему открыл какой-то человек, объяснявшийся на ломаном немецком, и повёл вниз по лестнице. Эгона окутало облако пара и запах заношенной одежды. Она ссутулилась в кресле, и очертаний тела было не разобрать под одеялами и покрывалами. В дверь просочился луч света, выхватил из полумрака кольцо у неё на пальце, сверкнул на золотом ободке. В углу горела свеча, едва озаряя стену с пожелтевшими фотографиями и покоробленными открытками. Она подняла глаза, увидела Эгона, вновь опустила взгляд.

— Здравствуй, мама. — Он подошёл поближе. — Хорошо выглядишь.

Наклонился, поцеловал её в щёку, ощутил губами морщинистую кожу.

- Дни, месяцы, годы. Теперь разница невелика.
- Слишком много времени прошло.
- А ты не оправдывайся.
- Я только вчера вернулся в Вену...

Она стянула одеяло на плечах.

- Дом цел?
- Конечно.
- Рендт написал — видел, что там кто-то живёт.
- Я хотел тебя заранее попросить, но...
- Дом такой же твой, как и мой и её.
- Нет, всё равно я обязан был написать.
- Когда ты уедешь?
- Завтра.

— Но ради меня стоило приехать? — Она закашлялась, Эгон поднёс к её лицу платок. Она помотала головой, отказываясь. — Принеси мне попить, ладно?



Девочка в платье
в горошек.
1911



Деревце
поздней осенью.
1911



Комната художника
в Нойленгбахе.
1911



Автопортрет с расставленными пальцами. 1911



Автопортрет
с физалисом.
1912



Автопортрет
со склонённой
головой.
1912